

АВТОРИТАРНОЕ СЛОВО В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. СОЛЖЕНИЦЫНА

Рассматривается вопрос о природе и специфике «авторитарного» слова в текстах А. Солженицына. Анализ таких произведений, как «Матренин двор» и «Архипелаг ГУЛАГ», приводит к выводу о том, что солженицынская авторитарно-проповедническая риторика зачастую обнаруживает в себе исповедально-автобиографическую направленность. За одами в честь неукоснительной святости, как и за обличительными инвективами, прячутся признания в собственных грехах, обусловленных несовершенством человеческой природы.

Ключевые слова: Солженицын; «Матренин двор»; «Архипелаг ГУЛАГ»; проповедь, авторитарное слово; обличение; исповедь.

Как известно, М. Бахтин не скупился на негативные характеристики авторитарного слова, подчеркивая его инертность, догматичность, окостенелость, а также и отсутствие «внутренней убедительности» [1. С. 154–158]. Признавая справедливость всех этих суждений, хотелось бы подчеркнуть одно важное обстоятельство: в литературе нового времени авторитарное слово (об особенностях, присущих авторитарному слову в основных его разновидностях, см.: [2. С. 157; 4; 5. С. 15–16]) крайне редко встречается в чистом, беспримесном виде – скорее можно говорить о периодических переключениях повествования на авторитарно-этологический регистр. Транспонируясь же в конструкцию современного фикционального текста, авторитарное слово ожидаемо претерпевает изменения, связанные главным образом с существенным ослаблением монологической ригидности.

Именно таким образом, например, дело обстоит в художественных произведениях А. Солженицына, включающих в себя авторитарное слово. Изучение этих текстов позволяет сделать вывод: безапелляционные проповеднические суждения автора «ГУЛАГа» всякий раз вступают в сложные конфликтно-диалогические отношения с другими элементами соответствующей художественно-смысловой структуры; более конкретно и точно процесс трансформации солженицынской проповеди можно охарактеризовать как приобретение ею некоторых свойств исповеди.

Ярким примером подобного явления служит проповедь аскетизма (и обличение жадности и стяжательства) в знаменитой концовке рассказа «Матренин двор». Здесь Матрёна окружена ореолом праведничества, и ее добровольная аскеза (она не откармливала поросенка, не держала корову, была равнодушна к деньгам, одежде и вообще к любым материальным благам) противопоставляется патологической меркантильности односельчан (в их ряду особенно выделяется воистину inferнальный Фаддей), занятых исключительно хлебом насущным и равнодушных к хлебу духовному.

В самом деле! – ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче – выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него – и потом резать и иметь сало.

А она не имела...

Не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни.

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев.

<...> Она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша [3. Т. 3. С. 146].

Как же соотносится проповеднический финал с другими, «неавторитарными» компонентами текста? На первый взгляд, следовало бы ожидать, что событийный ряд рассказа «Матренин двор» станет наглядной иллюстрацией к авторитарному слову, подтверждением его несомненной истинности. Однако на самом деле содержание основной части произведения не вполне стыкуется с проповедническими выводами рассказчика Игнатича. Начнем с того, что действия самого рассказчика-проповедника довольно очевидным образом вступают в противоречие с финальной апологией праведнического бескорыстия. Рассказ начинается с того, что апологет аскетизма отвергает путь, связанный с аскезой. Летом 1956 г. Игнатич после лагерей и ссылки вознамерился вернуться в «кондовую Россию»: «Мне просто хотелось в среднюю полосу – без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России – если такая где-то была, жила». Вскоре Игнатичу удалось отыскать прекрасное место, которое в полной мере соответствовало его мечтам: «И вдруг-таки дали мне местечко – Высокое Поле. От одного названия веселела душа. Название не лгало. На взгорке между ложков, а потом других взгорков, цельно-обомкнутое лесом, с прудом и плотинкой, Высокое Поле было тем самым местом, где не обидно бы и жить и умереть» [Там же. С. 113]. Однако рассказчик не остался жить в Высоком Поле, и причиной расставания с мечтой стала роковая (и, как становится ясно в дальнейшем, ключевая для смысловой структуры рассказа) проблема насыщения плоти: «Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше – когда ниоткуда не слышно радио и все в мире молчит. Увы, там не пеки хлеба. Там не торговали ничем съестным» [Там же].

Мы видим, что телесная природа человека неумолимо требует удовлетворения потребностей в пище.

Ежедневное насыщение желудка («каждый день завтракать и обедать») – это не роскошь, а необходимость, без которой невозможны устремления к ценностям высшего порядка. Можно сколько угодно прославлять и проповедовать бескорыстие, но в отсутствие хлеба насущного человек чаще всего не способен посвятить себя хлебу духовному – во всяком случае, именно так происходит с Игнатием: плотские, «утробные» потребности берут свое. Линия Игнатия и в дальнейшем разворачивается в координатах все той же антиномии духовно-нравственных идеалов и насыщения плоти: он декларирует свое равнодушие к пище, заявляет, что не в еде находит смысл существования, но анализ его собственных поступков, а также оговорки и невольных полупризнаний убеждает в серьезном и заинтересованном отношении героя к хлебу насущному. Вот фрагмент, где Игнатий характеризует свой рацион в доме у Матрёны, а в сущности же, жалуется на скверное качество крестьянской пищи:

Что на завтрак, она не объявляла, да это и догадаться было легко: картошь необлупленная, или суп картонный (так выговаривали все в деревне), или каша ячневая (другой крупы в тот год нельзя было купить в Торфопроducte, да и ячневую-то с бою...). Не всегда это было посолено, как надо, часто пригорало, а после еды оставляло налет на нёбе, деснах и вызывало изжогу.

Но не Матрёны в том была вина: не было в Торфопроducte и масла, маргарин нарасхват, а свободно только жир комбинированный. <...>

Я покорно съедал все наваренное мне, терпеливо откладывал в сторону, если попадалось что неурядное: волос ли, торфа кусочек, тараканья ножка. У меня не хватало духу упрекнуть Матрёну. В конце концов она сама же меня предупреждала: «Не умемши, не варёмши – как утрафишь?»

– Спасибо, – вполне искренне говорил я.

– На чем? На своем на добром? – обезоруживала она меня лучезарной улыбкой. И, простодушно глядя блекло-голубыми глазами, спрашивала: – Ну, а к ужоткому что вам приготовить?

К ужоткому значило – к вечеру. Ел я дважды в сутки, как на фронте. Что мог я заказать к ужоткому? Все из того же, картошь или суп картонный.

Я мирился с этим, потому что жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования [3. Т. 3. С. 119].

Дефекты деревенской пищи – важный лейтмотив рассказа. Взыскательный Игнатий неодобрительно отзывался не только о повседневных картофельных блюдах, но и, например, о пирожках, испеченных для Матрёниных поминок: «Из плохой муки пекли невкусные пирожки» [Там же. С. 144].

Впрочем, человеческое несовершенство Игнатия и не должно удивлять читателя, ведь герой-рассказчик отнюдь не претендует на статус праведника и последовательно презентует себя в качестве простого смертного. Праведником в рассказе названа Матрёна, и житийно-проповеднический финал воспекает равнодушие героини к пище и любым матери-

альным благам. В этом плане финальная часть произведения представляется ярко выраженной контрфактурой по отношению к зачину и основной части, где показано торжество человеческой плоти над духом. Однако и с праведническим бескорыстием Матрёны дело обстоит не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Ведь легко заметить, что концепт добровольного аскетизма вступает в некоторое противоречие с реалиями биографического текста героини. Из основной части рассказа явствует, что аскеза носила в жизни Матрёны, несчастной жертвы антинародного режима, по преимуществу, вынужденный характер. Сползание трудолюбивой и хозяйственной крестьянки в нищету («грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы») стало следствием ее старческих недугов, одиночества и – главное! – уродливых тоталитарных порядков. Матрёна вовсе не отказывалась от достатка, она, например, долго вела борьбу за причитающуюся по праву восьмидесятирублевую пенсию, упорно пыталась копить «к смерти», радовалась, когда что-то стало получаться: «Всё же к той зиме жизнь Матрёны наладилась как никогда. Стали-таки платить ей рублей восемьдесят пенсии. Ещё сто с лишком получала она от школы и от меня. <...> И в середине зимы зашила Матрёна в подкладку этого пальто двести рублей – себе на похороны. Повеселела: – Маненько и я спокой увидела, Игнатич» [3. Т. 3. С. 125]. Матрёна ценила красивую добротную одежду и, как только появилась возможность, с удовольствием «справила» новые валенки, пальто и телогрейку:

Заказала себе Матрёна скатать новые валенки. Купила новую телогрейку. И справила пальто из ношенной железнодорожной шинели, которую подарил ей машинист из Черустей, муж её бывшей воспитанницы Киры. Деревенский портной-горбун подложил под сукно ваты, и такое славное пальто получилось, какого за шесть десятков лет Матрёна не нашивала [Там же. С. 125].

Итак, возвышенно-героическая программа преодоления человеческой телесности («не нуждаться каждый день завтракать и обедать») ограничивается в произведении по преимуществу рамками авторитарно-проповеднической риторики, не находя основательного подтверждения на уровне событийного ряда. Анализ рассказа «Матрёнин двор» убеждает: переключение повествования с обиходно-информативного регистра на авторитарно-проповеднический обусловлено, кроме всего прочего, сомнениями рассказчика в том, что идеалы бескорыстия и нестяжательства могут быть воплощены в жизнь. В первую же очередь рассказчик-проповедник, очевидно, озабочен собственной роковой слабостью. Возможно, авторитарно-проповедническое аффективное возбуждение в какой-то степени следует признать признаком подспудного скепсиса – отчасти именно персональные колебания герой-идеолог и пытается заглушить «вещающим» словом. Как подчеркивал М. Уваров, «часть исповедь становится как бы скрытой проповедью, и наоборот» [6. С. 27]. В рассказе «Матрёнин двор»

перед нами как раз ситуация «наоборот»: проповедь фактически становится скрытой исповедью. «...В проповеди могут содержаться автобиографические и исповедальные оттенки» [7. С. 34]. Впрочем, возможно, перед нами ситуация, суть которой М. Уваров охарактеризовал так: «Исповедь, не выдерживающая собственного напряжения, обращается в проповедь» [6. С. 169]. Обрушивая свой аффективный гнев на жадных земляков Матрены, рассказчик, по существу, горько раскаивается в собственной неспособности преодолеть низменный зов плоти.

Аналогичным образом авторитарный дискурс обнаруживает исповедальную, покаянную природу и в «Архипелаге ГУЛАГе». Пожалуй, наиболее ярким образцом проповеднической риторики являются здесь обличительные инвективы, направленные против лагерных доносчиков. Массовые убийства «стукачей» (с них началось восстание в Кенгире) трактуются рассказчиком в 10-й главе 5-й части книги как возвышенно-героическая акция, очистительный ритуал, превращающий рабов в свободных людей – не случайно рассказчик с «поразительной воинственностью» [6. С. 47] повторяет, что кровь доносчиков «пролилась, чтобы освободить нас от тяготеющего проклятия». Любые могущие возникнуть возражения гуманистического свойства гневно отменяются как «болтовня сытых вольняшек»:

«Убей стукача!» – вот оно, звено! Нож в грудь стукача! Делать ножи и резать стукачей – вот оно!

Сейчас, когда я пишу эту главу, ряды гуманных книг нависают надо мной с настенных полок и тускло-посверкивающими неновыми корешками укоризненно мерцают, как звезды сквозь облака: ничего в мире нельзя добиваться насилем! Взявши меч, нож, винтовку – мы быстро сравняемся с нашими палачами и насильниками. И не будет конца...

<...> Стукачи – тоже люди?..

<...> Какие же стукачи – люди?!

<...> На пять тысяч человек убито было с дюжину, – но с каждым ударом ножа отваливались и отваливались щупальцы, облепившие, оплетшие нас. Удивительный повеял воздух!

<...> Небывалое, невозможное на земле время: человек с нечистой совестью не может спокойно лечь спать! Возмездие приходит не на том свете, не перед судом истории, а осязаемое живое возмездие заносит над тобой нож на рассвете [3. Т. 7. С. 160–164].

И здесь, как в случае с «Матрениным двором», приходится признать, что событийный ряд произведения вступает в очевидное противоречие с проповеднической риторикой, трактующей доноительство как несмываемый грех, который превращает человека в нелюдя, чье убийство есть безусловное благо. При этом усомниться в безусловной истинности авторитарного слова рассказчика вновь заставляет его же собственное поведение. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить внимание на 12-ю главу 3-й части «ГУЛАГа» под названием «Стук-стук-стук». В ней повествуется о том, как сам герой-рассказчик был завербован в доносчики в лагере на Калужской заста-

ве. Все началось с того, что в беседе с оперуполномоченным герой согласился признать себя советским человеком:

– Ах, советский! Ну вот это другой разговор, – радуется опер. – Теперь мы можем с вами разговаривать как два советских человека. <...>

Я чувствую, что я уже пополз... <...> А он набрасывает и набрасывает аккуратные петельки: я должен помочь им быть в курсе дела. Я могу стать случайным свидетелем некоторых разговоров. Я должен буду о них сообщить... [2. Т. 6. С. 228].

Когда же герой-рассказчик твердо отказался стучать на товарищей, опер мгновенно «поворачивает разговор к блатным»:

Он слышал от надзирателя Сенина, что я редко высказываюсь о блатных, что у меня были с ними столкновения. Я оживляюсь: это – перемена ходов. Да, я их ненавижу.

<...> Так неужели я откажусь сообщить оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных, если мне станет это известно?

Что ж, блатные – враги, враги безжалостные, и против них, пожалуй, все меры хороши...

<...> И уже чистый лист порхает передо мной на стол:

«Обязательство.

Я, имя рек, даю обязательство сообщать оперуполномоченному лагучастка о готовящихся побегах заключенных...»

– Но мы говорили только о блатных!

– А кто же бежит кроме блатных?.. Да как я в официальной бумаге напишу «блатных»? Это же жаргон. Понятно и так. <...>

– Неужели нельзя обойтись без этой бумажки?

– Таков порядок.

Я вздыхаю. Я успокаиваю себя оговорочками и ставлю подпись о продаже души. О продаже души для спасения тела. <...>

Так ловят птичек. Начиная с коготка [3. Т. 6. С. 230–231].

Ситуация вербовки автобиографического героя в «ГУЛАГе» явно перекликается с зачином «Матрениного двора», где рассказчик, идеолог аскезы, легко, без борьбы пожертвовал прелестями Высокого Поля ради гарантированного двухразового питания. И здесь контраст между проповеднической риторикой рассказчика и его собственным поведением оказывается не менее впечатляющим: кроважанные оды в честь расправ над доносчиками озвучивает тот, кто ранее сам поставил подпись «о продаже души для спасения тела» под обязательством «стучать» о готовящихся побегах, и сделал это без какого-либо серьезного давления со стороны лагерных спецслужб. В результате же возникает сложное, подлинно полифоническое художественно-смысловое целое, в системе координат которого любая авторитарная инвектива обнаруживает относительность и неполноту. Исповедально-покаянные интенции разрушают монологичность проповеднического слова, яростный призыв убить стука-

ча в значительной степени нейтрализуется проникновенными пожеланиями понять и простить чужие грехи: «Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее» [3. Т. 5. С. 90]; «Ты слабым узнал себя – можешь понять чужую слабость» [Там же. Т. 6. С. 381]. В этой связи мнение Солженицына о том, что «Архипелаг ГУЛАГ» – «не памфлет, а зов к раскаянию» [9. С. 619], представляется абсолютно справедливым.

Итак, авторитарное слово у Солженицына нередко обнаруживает исповедально-покаянную направленность: за гневными инвективами в адрес чужих пороков (будь то жадность советских колхозников или подлость лагерных стукачей), точно так же, как и за проповедническими одами в честь неукоснительной святости, прячутся признания в собственных при- скорбных грехах, обусловленных несовершенством человеческой природы [8]. Представляется, что солженицынская авторитарная риторика в данном смысле вовсе не является каким-то исключением из правил. Напрашивается предположение, что зачастую

авторитарное слово в той или иной степени включает в себя исповедально-автобиографическую составляющую. В этом плане заслуживают внимания наблюдения М. Бахтина над особенностями толстовского авторитарного слова, содержащиеся в статье, посвященной «Воскресению». Так, по Бахтину, Толстой в романе доказывает несостоятельность любого суда (если он направлен не на самого человека), но при этом фактически вершит суд над судьями, т.е., вопреки собственным постулатам, сам выступает в роли судьи. [10. С. 199–204]. Возможно, подобного рода парадоксальный синтез в особенности характерен для отечественной культуры, и следует согласиться с М. Уваровым, утверждавшим, что «символика национальной ментальности оказывается в скрижалях дилеммы “исповедь-проповедь”» [6. С. 34]. Впрочем, это, разумеется, не более, чем предположения, для подтверждения (или опровержения) которых требуется основательный и кропотливый анализ широкого и разнообразного литературного материала.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.
2. Степанов А. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.
3. Солженицын А. Малое собр. соч.: в 7 т. М.: Инком НВ, 1991.
4. Волкова Т. Воскресение слова (функции жанра проповеди в последнем романе Л.Н. Толстого) // Критика и семиотика. М., 2000. Вып. 1–2. С. 136–154.
5. Тюпа В. Очерк современной нарратологии // Критика и семиотика. М., 2002. Вып. 5. С. 5–31.
6. Уваров М. Архитектоника исповедального слова. СПб.: Алетейя, 1998. 243 с.
7. Шелудякова О. Исповедь и проповедь как феномены искусства (на примере музыкальной культуры позднего романтизма) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2011. Вып. 1. С. 161–178.
8. Нива Ж. Солженицын. М.: Художественная литература, 1992. 101 с.
9. Солженицын А. Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни. Париж: YMCA-PRESS, 1975. 629 с.
10. Бахтин М. Идеологический роман Л.Н. Толстого. Предисловие // Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, 2000. Т. 2. С. 185–204.

Статья представлена научной редакцией «Филология» 18 февраля 2018 г.

AUTHORITARIAN WORD IN SOLZHENITSYN'S WORKS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2018, 428, 12–16.

DOI: 10.17223/15617793/428/2

Aleksandr O. Bolshvov, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: olegovich1955@mail.ru

Keywords: Solzhenitsyn; “Matryona’s Home”; *The Gulag Archipelago*; preaching; authoritarian word; condemnation; confession.

The aim and objectives of the article are connected with studying the changes that happen with the authoritarian word in the course of its transposition to the contemporary literary-art discourse. The study is based on the works of A. Solzhenitsyn (“Matryona’s Home” and *The Gulag Archipelago*), in which the authoritarian predicatory element plays an important role. The methodological basis of the study was the combination of the principles of motive analysis and a psychobiographical approach. As is known, the authoritarian word is characterized by such features as inertia, dogmatism, hardness (M. Bakhtin); in the literature of modern times it is rarely found in its pure, uncompounded form – we can rather talk about the periodic switching of the narrative to the authoritarian-ethological register. The analysis of Solzhenitsyn’s works leads to a conclusion that the inclusion into the construction of a fictional and ideological text, as a rule, leads to a significant weakening of monologue rigidity for the authoritarian word. Both in “Matryona’s Home” and *The Gulag Archipelago* the transformation the preaching judgments of the narrator undergo shows a similar nature: preaching acquires some characteristics of confession. Thus, in “Matryona’s Home”, the concept of voluntary austerities that is strongly promoted at the level of authoritarian rhetoric in a rather obvious way comes into contradiction with the behavior of the main characters including the hero-narrator. Apparently, switching of the narrative from an everyday informative register to preaching is caused, among other things, by the doubts of the narrator that the ideals of selflessness can be translated into reality. Perhaps, the authoritarian preaching pathos should be recognized as a sign of hidden skepticism to some extent: partly it is personal hesitations that the hero-ideologist is trying to obliterate with the “pontificating” word. Similarly, authoritarian discourse detects a confessional nature in *The Gulag Archipelago*. Confessional and penitential intentions destroy the monologism of preaching invectives. A call to kill snitches is largely neutralized with insightful wishes to understand and forgive the sins of others. As a result, there is a complex, truly polyphonic artistic and meaningful entity, in the coordinate system of which any authoritarian judgment becomes relative and incomplete. The final part of the article suggests that any authoritarian word involves a confessional-autobiographical component to a greater or lesser degree; perhaps, this sort of paradoxical synthesis is especially typical for the national culture.

REFERENCES

1. Bakhtin, M. (1975) *Voprosy literatury i estetiki* [Issues of literature and aesthetics]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
2. Stepanov, A. (2005) *Problemy kommunikatsii u Chekhova* [Problems of communication in Chekhov]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
3. Solzhenitsyn, A. (1991) *Maloe sobr. soch.: v 7 t.* [Small collection of works: in 7 vols]. Moscow: Inkom NV.
4. Volkova, T. (2000) Voskresenie slova (funktsii zhanra propovedi v poslednem romane L.N. Tolstogo) [Resurrection of the word (functions of the genre of preaching in the last novel by Leo Tolstoy)]. *Kritika i semiotika – Critique & Semiotics*. 1–2. pp. 136–154.
5. Tyupa, V. (2002) Ocherk sovremennoy narratologii [Essay on Contemporary Narratology]. *Kritika i semiotika – Critique & Semiotics*. 5. pp. 5–31.
6. Uvarov, M. (1998) *Arkhitonika ispovedal'nogo slova* [Architectonics of the confessional word]. St. Petersburg: Aleteyya.
7. Sheludyakova, O. (2011) Ispoved' i propoved' kak fenomeny iskusstva (na primere muzykal'noy kul'tury pozdnego romantizma) [Confession and preaching as the phenomena of art (on the example of musical culture of late romanticism)]. *Vestnik Ekaterinburgskoy dukhovnoy seminarii – Bulletin of the Ekaterinburg Theological Seminary*. 1. pp. 161–178.
8. Niva, Zh. (1992) *Solzhenitsyn*. Moscow: Khudozhestvennaya literatura. (In Russian).
9. Solzhenitsyn, A. (1975) *Bodalsya telenok s dubom. Ocherki literaturnoy zhizni* [The Oak and the Calf. Essays on literary life]. Parizh: YMCA-PRESS.
10. Bakhtin, M. (2000) *Sobr. soch.: v 7 t.* [Works: in 7 vols]. Vol. 2. Moscow: Russkie slovari. pp. 185–204.

Received: 18 February 2018